

Е.М. Сергеев

Взгляд сквозь годы. Воспоминания



Евгений Михайлович СЕРГЕЕВ (1914–1997) —

крупнейший советский и российский ученый в области грунтоведения, инженерной геологии и охраны геологической среды, талантливый педагог Московского государственного университета, выдающийся организатор геологической науки, академик АН СССР и РАН, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. По инициативе Е.М. Сергеева в 1978 г. в издательстве «Наука» был открыт академический журнал «Инженерная геология» (сейчас существующий под названием «Геоэкология: инженерная геология, гидрогеология, геокриология»), главным редактором которого он являлся до 1987 г.

На страницах нашего журнала перепечатывается книга Е.М. Сергеева «Взгляд сквозь годы. Воспоминания», вышедшая в 2014 году в издательстве «ГЕОС» под редакцией В.И. Осипова (составители — О.Н. Еремина, Н.Е. Сергеева). Основой для нее послужили книги ученого «За строкой фронтового письма» (М.: Воениздат, 1985), «Московский университет: взгляд сквозь годы» (М.: Изд-во МГУ, 1992), а также его мемуары, не издававшиеся ранее. В публикации приводится правдивый рассказ о жизненном пути академика, неразрывно связанном с историей нашей страны.

ЧАСТЬ I. ЮНОСТЬ

Глава 1 Деды и прадеды

Много раз в жизни приходилось мне писать автобиографию. Писал автобиографии большие, подробные и совсем коротенькие, с «кулоном» в научно-педагогическую деятельность и с «акцентом» на общественно-партийную работу. Разные писал автобиографии, но все они начинались одними и теми же словами: «Родился я 23 марта 1914 года в Москве в семье служащих. В то время мой отец Сергеев Михаил Епифанович работал инженером, мать Сергеева Елена Николаевна — статистиком». Эта стандартная фраза писалась много раз. А вот подробнее рассказать об отце и матери, о своем детстве попробую впервые. Наверное, даже начинать надо не с них, а с дедушек и бабушек, которых я хорошо помню.

Дедушка Епифан родился в 1856 году в Таганроге. Он был старшим в семье, и еще двенадцатилетним мальчиком его отправили в Москву «в люди». Взяли его в армянскую семью Масловых, торговавших галантереей. У них он прослужил 50 лет, до того самого времени, когда Советская власть реквизировала магазин, а когда магазин стал государственным, дед продолжал в нем работать до самой своей смерти (1925 г.).

Когда он умер, мне было 11 лет. Тогда мне и в голову не приходило расспросить дедушку о его родителях, о том, почему его отдали «в люди», а бабушка Варя и мой отец сами об этом толком ничего не знали.

У Масловых дед начал с того, что делали все мальчишки, жившие «в людях», — чистил обувь и платье, ставил самовар, бегал с различными поручениями.

Время шло. Мальчик превратился в юношу, которого поставили торговать за прилавок.

Дедушка Епифан был человеком исключительной честности, очень верующим и очень добрым. Он не пил и не курил. Этими своими качествами он завоевал доверие хозяев, и его стали посыпать с партиями товара в разные городки, к лавочникам, которым фирма Маслова продавала галантерею. Так он оказался в городе Судже, где познакомился с Варварой Васильевной Жилкиной (1868–1941), ставшей его женой и моей бабушкой.

12 апреля 1980 г. я впервые был в Таганроге. Смотрел там новый музей — «лавку Чехова». И при этом подумал, что вот в такой же лавочке, но только не в Таганроге, а в Судже, сидела 18-летняя девушка Варя и подобно А.П. Чехову помогала торговать своему отцу Василию Ильичу Жилкину, а точнее — матери Евдокии Ивановне (1842–1916).

Василий Ильич — это уже мой прадед. О нем я хоть немного, но все же кое-что знаю со слов бабушки Вари.

В детстве меня тянуло к голубям, певчим птицам. Родители сердились, а бабушка за меня заступалась:

— Оставьте его, он в прадеда, в Василия Ильича.

Известный в Судже голубятник и птичник был.

— Бабушка, расскажи про него что-нибудь.

— Ну, что еще. Кулачные бои любил. Один раз простыл, чириями покрылся. Лежал на печи. Вдруг вбегают дружки: «Василий, наших бьют!». Его с печи как ветром сдуло. А вернулся, все чирии побиты. Так и зажили вскорости.

— Бабушка, расскажи еще что-нибудь.

— Нечего больше рассказывать, — сухо отвечала бабушка.

Бабушка Варя была молчалива, любила больше слушать радио, читать (в том числе и газеты), слушать, как рассказывают другие.

Дедушка Епифан, наоборот, любил поговорить, рассказать, что было на работе, о чем говорили в парикмахерской (он там часто бывал — это была его слабость). Меня, своего единственного внука, он очень любил. И в возрасте далеко уже за 65 лет делал большой крюк, возвращаясь домой с работы, чтобы принести мне яблоко или конфету. Ласкал меня и говорил: «Мы с тобой донские казаки». При этом щурил глаза и указательным пальцем правой руки ударял по столу. То ли он имел в виду, что родился в Таганроге, то ли действительно родители его были из казаков. Не знаю.

Отец родился в 1889 году в Судже. Дедушка делал все, чтобы дать образование моему отцу и младшей сестре, моей тете Кате (Екатерине Епифановне Жеромской). Они сначала оставались с матерью в Судже и здесь учились в гимназии, а затем переехали в Москву, и отец поступил учиться в Коммерческий институт (ныне Институт народного хозяйства им. Плеханова).

Жили в это время Сергеевы в небольшой квартире в доме № 50 по Малой Ордынке... А рядом, в доме № 44 жила довольно многочисленная семья Вознесенских, и среди пяти сестер была моя будущая мать — Елена Николаевна Вознесенская. Так судьба свела отца с матерью. Они познакомились.

Думаю, что в семье Вознесенских отец встретил вначале не очень теплый прием. Он был из типичной мещанской семьи, в то время как Вознесенские имели дворянское звание и материально их семья была лучше обеспечена, хотя никогда богатой не была. Дедушка Коля (Николай Николаевич Вознесенский, 1862–1927) работал недолгое время сельским учителем, а затем в Москве — бухгалтером у фабриканта Соловникова.

Дворянство Вознесенских началось с Отечественной войны 1812 года. Именно в этом году юноша из семьи Князевых бежал из дома, явился к священнику церкви Вознесения в Москве и просил его благословения на поступление добровольцем в армию вопреки воле своих родителей. Священник благословил его и выдал документы (метрику, по-видимому) на имя Ивана Яковлевича Вознесенского с тем, чтобы родители не могли разыскать беглеца.

Иван Яковлевич оказался храбрым человеком. Получил офицерский чин и был официально причислен к героям Отечественной войны. Имя его золотыми

буквами было насечено на стене храма Христа Спасителя. Это давало потомственное дворянство и право всем последующим поколениям на бесплатное обучение в государственных гимназиях. Этим правом пользовались моя мать, ее сестры и брат.

На Даниловском кладбище в Москве до сих пор сохранился простой гранитный памятник, на котором написано, что под ним похоронен в 1850 г. в возрасте 65 лет подполковник и кавалер Иван Яковлевич Вознесенский (и его жена, урожденная Афанасьева Елена Михайловна, которая пережила его на 10 лет и умерла в возрасте 50 лет).

Единственный сын Ивана Яковлевича, Николай Иванович Вознесенский, женился на татарке из Касимова Тарбаевой Марии Михайловне, которая в связи с этим приняла православную веру. Поэтому мой дед Николай Николаевич наполовину был татарином. Естественно, что и во мне есть немного татарской крови.

Дедушка Коля в моей памяти сохранился в образе довольно грузного старика, в синем халате, подпоясанном поясом с кистями, которыми он любил играть. Хорошо помню один случай, который вызвал у меня глубокое мальчишеское восхищение дедом. Оказывается, дед хорошо играл в шашки. Выяснилось это так.

К отцу зашел в гости киевский знакомый (кажется, Слезкин), который специально приехал в Москву для участия во всесоюзном шашечном чемпионате. Я смотрел на него во все глаза: подумать только, человек приехал в Москву, чтобы бороться за звание чемпиона страны по шашкам!

Дед предложил ему сыграть в шашки и не только выиграл у него партию, но и запер шашки своего противника «в уборную». И очень довольный, посмеиваясь в усы, отправился в свою маленьющую комнату при кухне.

Бабушка Леля, Елена Сергеевна, в девичестве тоже, как и дед, имела «поповскую» фамилию — Дьячкова — и тоже, как дед, никакого отношения к церковному сословию не имела. В отличие от моих дедушек и бабушки Вари, бабушка Леля была какая-то «беспокойная» или, лучше сказать, «уж очень инициативная». Имея на руках большую семью, она постоянно что-то затевала, о чем-то беспокоилась и приносила много хлопот своим близким. Так было в молодости, так было и в старости. Умерла она на 92-м году жизни и до 90 лет вела хозяйство у своего сына-вдовца — Николая Николаевича Вознесенского, моего дяди, много лет проработавшего на фабрике «Трехгорка», воспитала его маленькую дочку Таню, которая потеряла мать сразу же после родов. Много она делала доброго, хорошего, но много было и «инцидентов», связанных с ее постоянной «инициативой».

Вот один из них. Приходит дядя Коля домой с работы. Бабушка подает обед и торжественно ставит на стол черную икру:

— Колюшка, мне сегодня повезло — черную икру в магазине купила. Она редко бывает, так я ее взяла про запас. Хорошо, что ты вчера как раз мне свою зарплату отдал. Деньги были. Ты уж где-нибудь теперь зайди, а то нам ведь еще две недели надо жить.

Только, наверное, один дядя Коля со своим мягким, добрым характером мог при этом не раздражаться. Вообще же семья Вознесенских была очень дружной. Все сестры имели свои семьи и, несмотря на это, регулярно встречались у бабушки Лели, которая намного пережила дедушку Колю, умершего сравнительно рано, в 1928 году.

После женитьбы отца дедушка Епифан переехал из дома на Малой Ордынке в квартиру, в дом 68 по ул. Большая Ордынка. Квартира находилась на шестом этаже, но зато была большая. В этой квартире я и родился. Говорят, горластый был младенец, особенно по ночам. В это время отец работал инженером под Москвой, в Балобанове.

Началась первая мировая война, и отец вместе с нашей семьей переехал на работу в Донбасс, в Рубежную. По-видимому, этот переезд был связан с тем, что с химических заводов в армию специалистов не брали. Может, были и еще какие-то другие соображения. Вместе с нами в Рубежную поехала моя няня, Ирина Ивановна Гребенникова, которая была для меня второй матерью.

Ирина Ивановна познакомилась с моими родителями в Москве. Сама она была из Моршанска. Не знаю, при каких обстоятельствах это случилось, но у нее был внебрачный сын, которого звали, так же как и меня, Евгением. Он умер. Ирина Ивановна, познакомившись с нашей семьей, решила, что я ей богоданный сын, и так относилась ко мне до последних дней своей жизни. Бескорыстная искренняя любовь не могла оставаться без ответа. Тем более у ребенка. И я отвечал своей няне тем же, это чувство сохранилось у меня и тогда, когда я стал седовласым мужчиной.

Глава 2

Первые детские воспоминания. Родители

Рубежную я помню плохо. Революция в памяти у меня не сохранилась. Сохранилось другое. Из Москвы мне прислали мяч, синий с красным. Такого у меня еще никогда не было. Дело было летом. Я вышел во двор поиграть с мячом. Подбросил его, и мяч перелетел через забор на улицу. Я бросился к калитке, распахнул ее. Мяча нет. Сердце оборвалось. Такой замечательный мячик. Куда он мог деться? Ведь улица пуста и укатиться ему некуда. Но мяча нет. Потрясенный горем, пошел к себе во двор. И, о чудо, о радость — мяч лежит во дворе. Мать объяснила: «Наверное, пока ты бежал к калитке, прохожий перебросил ого обратно через забор, а сам свернулся в переулок».

Происшествие — пустяк. А так потрясло детскую душу, что я ясно себе все представляю, как будто это было вчера. А ведь прошло больше 60 лет.

Второй случай напомнила мне фотография. Во дворе за столом сидим втроем: отец, мать и я. Под столом на переднем плане лежат дыни и арбузы. Они положены явно для декорации. У меня в руках — кусок то ли дыни, то ли арбуза, но я помню хорошо, что мне его дали тоже только для того, чтобы сфотографироваться. Есть категорически запрещено — расстройство желудка. Очень обидно. Но все же не та «катастрофа», которая была с мячом.

Есть еще одна фотография. На ней я в фуражке железнодорожника и с рожком в руках. Мама мне рассказывала, что я любил играть в «железную дорогу». Причем любимой фразой была: «Станция Петушки, горячие пирожки. Поезд стоит пять минут». Не знал я тогда, что станция Петушки недалеко от Москвы по Горьковской дороге. Сейчас до нее ходят пригородные электрички. И никто тогда не мог предположить, что Петушки войдут в нашу жизнь. Нет, не сама станция, хотя мне на ней приходилось бывать много раз, а Петушинский район, который начиная с 1957 года станет для нас вторым домом, потому что именно в это время недалеко от Петушков мы построили себе дачу. На ней отдыхали последние годы своей жизни мои родители, выросли на ней дети и внуки. Вся наша семья любит не только саму дачу, но и весь Мещерский край, символом которого для нас явились Петушки.

Во время Гражданской войны остановились Рубежанские заводы. Наша семья переехала в Киев. Нашлась комната на первом этаже дома № 7 по Левандовскому переулку. Этот переулок находится в районе «Арсенала» и Киево-Печерской лавры.

Двор мне тогда казался большим, а дом огромным. После войны, будучи в Киеве, я разыскал места своего детства. И удивился. Двор оказался маленьким, дом небольшим, всего в три этажа.

Здесь мы прожили большую часть гражданской войны, вплоть до 1922 года.

Киев я помню лучше, чем Рубежную. Известно, что во время войны он переходил из рук в руки. Кто в нем только не побывал. И каждый раз наступавшие стремились овладеть нашим районом, где не только был завод «Арсенал», но и который еще возвышался над другими частями города. Все начиналось с артиллерийского обстрела. При этом жители нашего дома спускались в подвал. Помню, что один раз заснул я в своей кровати, а проснулся на руках у няни, в полуутяме, в подвале. Кругом плотно сидят и стоят люди, а на столике горят две свечи.

В Киеве я пошел учиться в первый класс. Школа находилась довольно далеко от дома. Надо было спуститься с горы к Крещатику, пересечь его и опять подняться в гору.

Из учения ничего не получилось. Очень быстро я заболел коклюшем и вынужден был сидеть дома. Но и за то короткое время, когда я ходил в школу, произошло два «эпизода», хорошо сохранившихся в памяти. Первый из них связан с первым днем занятий в школе. Ранца у меня не было. Мама дала мне сумку с ремнями и ручкой, объяснив, что с этой сумкой она сама ходила в гимназию и что обращаться с ней надо бережно. В сумку были уложены тетради, учебники, письменные принадлежности и завтрак, состоявший из хлеба с маслом и яйца. Довели меня до школы и даже до класса и строго предупредили, чтобы сам я домой не ходил, что за мной кто-нибудь придет.

До звонка оставалась минут 10–15. Этого было достаточно, чтобы между нами, мальчишками, возникла драка, не серьезная, а скорее шутливая, что-то вроде игры в войну. Стукали друг друга ранцами, книгами, чем придется. Очень удобно было хлопать «противников» маминой сумкой, держа ее за ручку.

Прозвучал звонок. Вошел учитель:

— Здравствуйте, дети! Достаньте ваши тетради для письма и буквари тоже. Я покажу вам, как надо писать буквы.

Все засуетились. Я тоже развязал ремни и открыл сумку. О, ужас! Яйцо оказалось сваренным всмятку. В драке оно было разбито и залепило все книги, тетради. Все было перемазано. Доставать было нечего. Оставалось одно — продемонстрировать все учителю под дружный смех класса и с нетерпением ожидать окончания первого школьного дня.

Последнего урока не было. Никто за мной еще не приходил. И я решил проявить самостоятельность, сам отправился домой. Пришел домой, квартира заперта. Жду во дворе. А няня меня ждет у выхода из школы. Пришлось выслушивать от родителей внушение сразу за все «проповинности» этого дня, но зато больше меня уже не провожали и не встречали.

Стало прохладнее, пошли дожди, и по этому слушаю меня одели в новое пальто, сшитое из материала с большим ворсом. Иду в этом пальто из школы домой. Пересек Крещатик, поднимаюсь в гору. И, о счастье. Трудно поверить в это. В гору медленно поднимается трамвай, и задний буфер у него свободен. Сколько раз я мечтал прокатиться на буфере, но он всегда был занят. А тут свободен. Ничего не стоило догнать трамвай, усесться на буфере. Сижу с гордым видом и не могу понять: почему люди на задней площадке трамвая с интересом смотрят на меня и заливаются смехом.

Вот и поворот, остановка, дальше которой ехать мне уже ни к чему. Хочу соскочить с буфера, но я к нему прилип. Отталкиваюсь рукой, и она погружается в вязкую черную массу. Хохот на площадке усиливается. Сейчас тронется трамвай. Я делаю рывок и соскакиваю с буфера. Там, где я сидел, — пук ворса из моего пальто. Оно все перемазано дегтем, штаны тоже. В таком виде я вернулся домой. Опять нагорело. И за дело. Уже много позже я понял, что в то время родителям в Киеве жилось тяжело. Отец работал химиком в частной мастерской, изготавлившей резиновые изделия (соски и др.). Мать приносила домой бесконечные «простыни» цифр, которые надо было обсчитывать. Бюджет семьи был весьма скромным. Второе пальто не купишь.

Вот два эпизода, связанные со школой.

А дальше начался тяжелый коклюш. В школуходить было уже нельзя.

В начале зимы произошло большое событие: родители решили вернуться в Москву. Там были все родственники, там не было уже так голодно, как в первые годы после революции.

Когда ехали в поезде, первое время в вагоне только и было разговоров о каких-то «зеленых», которые все еще скрываются в лесах и нападают на поезда. Потом кто-то заявил, что опасные места уже проехали, и все разговоры на эту тему прекратились.

В Москве мы поселились у маминых родственников в четырехэтажном доме на Малой Полянке (дом № 7) на втором этаже, а потом получили хорошую комнату в 25 м² в этом же доме на четвертом этаже. Мамины родные — дедушка Коля и бабушка Леля,

две замужние сестры (семьи Тутуновых и Корневых) — жили в этом же доме на втором этаже. Было очень удобно: и врозь, и вместе.

Первые впечатления о Москве. Много снега, в Киеве столько его не было. Вдоль тротуаров выстроились снежные кучи. Много извозчиков, самых разных — и более богатых, и более бедных. По улицам тянутся обозы. Иногда не тянутся, а едут на раях. Это когда розвальни пустые. Мужики в тулуках лежат лицом вперед, и это дает возможность мальчишкам подсаживаться на сани сзади. Но надо быть начеку. Хозяин может огнеть кнутом, не глядя куда. Безопаснее прикрутить коньки и крючком из проволоки уцепиться за сани. Но это все же не то удовольствие.

Среди прохожих на улице легко отличить городских от деревенских. Последние часто ходят в лаптях. Иногда женщины с котомками и ребятишками просят милостыню.

Названия улиц мне показались странными. Например, в первый же день я увязался за тетей Шурой, которая шла в булочную за хлебом и калачами к Калужским воротам (теперь Октябрьская площадь). Пришли, а никаких ворот нет. Спрашиваю:

— А где же ворота?

— Да это просто так называется. Они когда-то здесь были.

— Как же можно площадь называть воротами?

— Дорога шла на город Калугу. Вокруг Москвы — земляной вал, ров, а между ними были ворота в этом самом месте. Вот и назвали их Калужскими воротами, — объясняла тетя Шура.

Но я был разочарован. Шел посмотреть ворота, а оказалось, что их нет — одно лишь название. Никак не мог понять, как можно называть «воротами» место, где нет ворот. Это было странно.

Нравился колокольный звон. Церквей было много. Только около нашего дома четыре церкви — две на Большой Полянке и две на Большой Якиманке. Как начнут звонить, особенно в праздники! Красота!

Позднее мальчишки из нашего дома и я в их числе завели каким-то образом дружбу со звонарем церкви Петра и Павла (кажется, так она называлась). Он разрешал лазить к нему на колокольню при одном условии — не трогать живших там голубей-сизарей. Колокола гудели. И под их гул это условие иногда нарушалось. Слишком велик был соблазн. И какой-нибудь зазевавшийся голубь оказывался за пазухой у одного из «любителей» колокольного звона. Что было, то бывало.

Надо было продолжать учиться в школе. И меня устроили в первый класс в ближайшую начальную школу, которая находилась в красивом доме на Большой Якиманке (сейчас в нем находится французское посольство). Дом этот имел много проходных комнат и мало подходил под школу. Дело кончилось тем, что я и в эту школу ходил недолго: еще до окончания учебного года школа была закрыта. Дом понадобился для каких-то других целей.

В другую школу поступить не удалось. Не так их было много в Москве. Все школы работали в две смены и все были переполнены. По крайней мере так было в нашем Замоскворецком районе.

Отец поступил работать инженером-химиком в Центральную научно-исследовательскую лабораторию химической промышленности. Это определило всю его дальнейшую судьбу. Лаборатория была реорганизована в научно-исследовательский институт, который разместился на ул. Пятницкой в доме № 74. Работая в этом институте, отец защищил кандидатскую, а во время войны уже докторскую диссертацию. И все по химии кожи. Он был крупным ученым в этой области. Еще до войны отца пригласили на педагогическую работу на должность доцента на кафедру товароведения института им. Плеханова. Того самого института, который он оканчивал, когда институт назывался «Коммерческим».

После защиты докторской диссертации отец стал сначала профессором, а потом сам заведовал кафедрой товароведения. Он написал ряд учебников, читал основной курс товароведения, стал известным специалистом в этой области. Его пригласили заведовать кафедрой товароведения в Институте (академии?) внешней торговли. Отец перешел на работу туда. Произошла очередная реорганизация, и Институт внешней торговли превратился в один из факультетов Московского государственного института международных отношений (МГИМО). В этом институте отец проработал много лет, до конца своей жизни, заведя кафедрой товароведения.

Отец был человеком увлекающимся. Он увлекался то рыбной ловлей и рыбами вообще, то фотографией, то радиоприемниками, то оперными пластинками. Одно время, когда мы только приехали в Москву, живо интересовался так называемой «обновленческой» церковью. Ходил слушать проповеди епископов Антонина и Введенского. На этой почве он познакомился с Иваном Васильевичем Пеутином, который работал бухгалтером на Дербеневском заводе и у которого был сын моих лет Володя.

Нас познакомили. Мы стали товарищами и друзьями на всю жизнь. В своих воспоминаниях я буду еще много раз возвращаться к Володе Пеутину, к Владимиру Ивановичу Пеутину.

После приезда в Москву маме не сразу удалось устроиться на работу. Была безработица. Мама стала на учет на бирже труда. Ее привлекли к переписи населения, которую впервые проводила Советская власть. И только после этого ей удалось устроиться работать по своей специальности статистика в организацию, занимавшуюся цветной металлургией. В должности статистика и проработала мама до самой пенсии.

Мама была более спокойной и уравновешенной, чем отец.

Бюджет семьи был небольшой, приходилось экономить, и в то же время не хотелось быть хуже других.

В 1923 году такие слова, как «НЭП», «нэпман», «нэпманы», были в ходу. Давая мне деньги на тетради или еще какие-то мелкие покупки, мама говорила:

— Только у нэпманов не покупай, у них все дороже. Зачем переплачивать, когда в государственном магазине можно дешевле купить.

И в то же время мама любила вместе с папой и со мной пойти в театр — в Большой, Малый, Вахтангова. На этом старались не экономить. Так, мне и Володе Пеутину родители купили абонемент в Малый театр на утренние воскресные спектакли во втором ряду амфитеатра. Мы сидели рядом и чувствовали себя чуть ли не взрослыми. Эти спектакли нас еще больше сблизили.

Отец никогда не был в партии, но его политическое лицо очень точно можно было охарактеризовать одним словом, которое одно время было официальным, — «сочувствующий». Всю жизнь он активно и очень добросовестно вел общественную работу начиная с председателя домкома (в 20-х годах) и заканчивая председателем месткома МГИМО, когда он был заведующим кафедрой и уже профессором в «почтенных» годах (около 70).

На всю жизнь мне запомнилось, как зимой 1929 или 1930 года мы ехали в переполненном трамвае из «центра» к себе на Большую Полянку. Какой-то тип разглагольствовал на тему о предстоящих «праздниках»:

— Как удачно получилось, — говорил он, — три дня подряд праздников, за воскресеньем идут 9 января и смерть Ленина.

Отец взорвался и рявкнул на весь трамвайный вагон:

— Гражданин, Вы думаете, что говорите? Или для Вас действительно нерабочие траурные дни, связанные с расстрелом рабочих и смертью Владимира Ильича Ленина, являются «праздниками»?

«Гражданин» на это прореагировал тем, что стал усиленно пробиваться к выходу, бормоча:

— Вы не выходите на следующей? Пропустите.

Когда мы вышли из трамвая, отец довольно усмехнулся:

— Здорово я этого болтуна одернул. Ну а остальные что же? Слушают его глупую болтовню и молчат. Не могу этого понять.

Вот в этом эпизоде весь отец, настоящий советский человек. Этот случай запомнился мне на всю жизнь, многому научил.

Глава 3

Школьные годы

Летом 1923 года мы снимали комнату на даче — на окраине Москвы в Богородском. Это было недалеко от работы отца. Лето было какое-то скучное. От него не осталось бы никаких впечатлений, если бы не поездка на дачу к тете Мане (Мария Николаевна Гебель — мамина сестра), которая вместе с мужем сняла комнату на станции Битца. Эта поездка запомнилась потому, что во мне «развивали мужество». Именно так и сказал дядя Коля (Николай Осипович Гебель):

— Сейчас, Женя, мы будем развивать у тебя мужество. Становись на перила террасы.

Дом, где Гебели снимали комнату, стоял на крутом склоне оврага. Терраса одной стороной повисла над ним. Вот мне и предлагалось пройтись по перилам над оврагом. Вначале было страшно (а вдруг упаду), а потом на меня уже надо было прикрик-

нуть, чтобы я перестал бегать по полюбившимся мне перилам.

К концу лета мне сказали, что меня устроили на конец в школу-семилетку. Сделать это было не так легко. Я был сын служащих, а в первую очередь принимались дети рабочих. Устраивая меня помогала дальняя родственница мамы, Мария Степановна Буткевич. Устроила она меня в 3-ю школу Москворецкого РОНО — туда, где сама преподавала математику. Школа находилась довольно далеко от нашего дома, на Зацепе. Точнее, помещалась школа в здании на углу улицы Зацепы (д. 41) и Б. Строгановского переулка, которое принадлежало институту им. Плеханова. Днем в этом помещении занимались рабфаковцы, а вечером — мы, школьники.

Приняли меня во второй класс. Учителем у нас был Николай Павлович (фамилию не помню), который до четвертого класса включительно занимался с нами по всем предметам, в том числе и по экономгеографии РСФСР. Этот предмет давался явно преждевременно. Мы просто механически заучивали, где что производится.

Николай Павлович был хорошим учителем, но излишне нервным. Иногда он останавливался посреди урока, смотрел, кто разговаривает и мешает ему, и в виновника летел кусок мела. Однажды ловко попал мне в затылок, когда я, повернувшись назад, обсуждал какие-то свои дела с ребятами, сидящими за партой сзади. Николай Павлович могли высмеять. Экономгеографию ему надо было сдавать вне уроков. В назначенное время приходила группа ребят и каждый отвечал на его вопросы.

Была весна. Учить экономгеографию не хотелось. Значительно интереснее было гонять голубей. И я пришел, почти ничего не запомнив из того, где и сколько добывается угля и руды, в какой области разводят молочный скот, а в какой преимущественно овец и т.д. На все вопросы Николая Павлович я молчал, говорить было нечего. Он рассердился и вдруг спросил:

— Тогда, может быть, знаешь, отчего луна не из чугуна?

У меня вертелся на языке ответ:

— Оттого, что на луну не хватило чугуна.

Но я вовремя понял его неуместность и опять промолчал.

Николай Павлович справедливо поставил против моей фамилии «ну», что означало «неудовлетворительно». В то время в школе существовали только три оценки: «вы» — весьма удовлетворительно, «у» — удовлетворительно и «ну».

На этом дело и кончилось. Никто не заставил получивших «ну» вновь продемонстрировать свои знания.

С 5-го класса у нас уже были разные учителя: по математике, русскому языку и литературе, географии, немецкому языку и др. Последний почему-то особенно не любили школьники и всячески выводили из себя «немку». А зря.

Мама немного знала немецкий язык. В 20-х годах он был у нас значительно более популярен, чем английский или французский. Мама хотела, чтобы я выучил немецкий язык, и вела со мной войну: в

течение двух лет заставляла меня ходить к старушке заниматься немецким языком. Учительница моя была требовательная и не хотела получать деньги зря. Заставляла учить немецкие слова, грамматику, читать, переводить, рассказывать по-немецки. Приходилось все это делать, но дома только был разговор, что зачем я изучаю этот немецкий язык, что никто из ребят не изучает, а я должен изучать, что у меня нет времени погулять, что вообще я самый несчастный мальчик.

Наконец маме надоело мое нытье и она сказала:

— Хорошо, не хочешь учить немецкий язык, не учи. Но запомни мои слова: вырастешь большим — жалеть будешь об этом. И меня еще упрекнешь, что разрешила тебе бросить заниматься немецким языком.

Много раз я вспоминал эти мамины слова. Никогда ее не упрекнул, хорошо помнил свое нытье, а вот самого себя ругал по этому поводу часто.

Два года занятий с учительницей немецкого языка дали мне возможность, ничего не делая, получать «отличные» оценки в университете, сдать кандидатский экзамен без подготовки на «хорошо», во время войны, когда не было переводчика, допрашивать пленных немцев и даже пытаться объясняться по-немецки во время своих многочисленных поездок за границу.

А если бы я проучился у этой старушки не два, а три, четыре года, я бы владел в совершенстве немецким языком и это позволило бы мне избежать многих трудностей при общении с иностранными учеными. Что поделаешь, молодо-зелено, как любила говорить бабушка Варя.

Мне легко давалась география. Преподавал ее сам директор школы. Он спросил:

— Марки собираешь?

— Да.

— Очень полезное дело, продолжай.

Но получилось так, что по окончании школы я перестал увлекаться марками. А затем, после войны, подарил свой альбом сыну хорошего знакомого.

Больше всего я увлекался голубями. Под № 7 на Малой Полянке было три дома: четырехэтажный, в котором мы жили и который стоял во дворе, небольшой одноэтажный домик, который выходил на улицу, и трехэтажный дом, стоявший на углу М. Полянки и Казачьего переулка. Большая часть трехэтажного дома была занята под детский дом. Детдомовцы и гоняли голубей. Заводилой у них в этом деле был мальчишка по прозвищу Барабан. По пожарной лестнице ребята забирались на крышу, где у них была устроена голубятня. Выпускали на волю своих голубей и зорко всматривались в небо. Раздавался крик:

— Барабан, трехай, трехай, чужак летит.

Барабан лихо свистел в два пальца, размахивал шестом с тряпкой. Голуби срывались с крыши, и стая начинали кружить над домом. Все мы стояли, запрокинув головы, любуясь голубями, и ждали: подлетит «чужак» или нет? Это было так красиво и интересно!

Довольно часто чужак присоединялся к стае, вместе с нею садился на крышу, затем настороженно подходил к голубятне, и тут его накрывала сетка. Чу-

жак оказывался в руках. Его бережно осматривали, оценивали и решали, что сделать: продать или оставить у себя, приручить.

Нам, мальчишкам, жившим в четырехэтажном доме, страшно хотелось иметь свою голубятню, своих голубей.

На первом этаже жила семья Егоровых. Два младших брата приняли меня в свою компанию, и мы построили небольшую голубятню, где держали главным образом сизарей. Один раз родители дали мне денег, и я купил пару наиболее дешевых «черных». Это были белые голуби с черными и красными беспорядочно разбросанными пятнами. Они мне казались лучше всех. Но через несколько дней голубятню сломали, а голубей украли. Это было большим огорчением.

Пришлось обратиться к родителям с новой просьбой о деньгах. На это последовал категорический отказ. Мотивы его были следующими:

— Плохо занимаешься, только о голубях и думаешь, пора с этим кончать, а если новых купишь, их все равно украдут.

Вот это была правда, но оторваться от голубей я никак не мог. И поэтому сдружился с детдомовцами и вместе с ними стал лазить на крышу трехэтажного дома.

Тут уже мои родители забеспокоились всерьез. Боялись, что могу сорваться с лестницы, с крыши и разбиться. И последовал строгий приказ: не сметь лазить на крышу. Этот приказ, конечно, меня сдерживал, по все же время от времени я его нарушал.

Отец старался отвлечь меня от голубей певчими птицами, рыбами. У нас с осени до весны в двух клетках жили то щеглы, то чижи, то снегири. Много лет в аквариуме жили золотистый красавец-телескоп, меченосец и две золотые рыбки, со временем выросшие до таких размеров, что их можно было бы ловить на удочку. Все это требовало ухода, все это живо меня интересовало. Но не могло заменить голубей.

Со временем мое увлечение голубями прошло само. Но и сейчас, изредка бывая на «птичьем рынке» в Москве, я люблю потолкаться среди голубятников и полюбоваться почтовыми и чистыми, белыми и монахами и другими, названия которых я уже не знаю. О таких голубях в детстве мы могли только мечтать.

Учился я в школе средне, но скорее хорошо, чем плохо; отношения с товарищами были нормальные. Хотя я неоднократно «стыкался». Было такое выражение. Запетушатся два мальчишки, и вдруг один другому говорит:

— Ах так, давай соткнемся.

— Давай.

Каждый оповещает своих друзей, что после уроков будет «стычка». Собирались мы где-нибудь у фонаря (все время занятия были в вечернюю смену), где мало бывает прохожих. Сопровождающие становились вокруг, стыкающиеся — внутри круга, и начиналась драка один на один. Старались в первую очередь разбить противнику нос. Начинала идти кровь, и пострадавший вынужден был признать себя побежденным. Пройдет 2–3 дня, и стыкающиеся вновь мир-

но разговаривают друг с другом как будто ничего и не было. Наши стычки были похожи на боксерские встречи. Кончается бой — и все в порядке.

Однажды я, уже будучи в шестом классе, привязался к одному из своих одноклассников. Был он мальчиком угрюмым и молчаливым, маленьского роста, значительно ниже меня. И вдруг он заявляет:

— Ты что, соткнуться хочешь? Давай.

— Давай, — отвечаю я.

Я и тогда понимал, что был не прав. Но подойти к своему «противнику» и сказать ему об этом не мог. Меня бы засмеяли как труса.

Вышли на стычку. Мой противник бросился на меня с неожиданной яростью. Несколько раз ударил по лицу. Сам получил сдачи. Но как-то ловко подставил мне подножку и ударом сбил с ног. Я был побежден. Всем было это ясно.

Шли мы возбужденные домой, обсуждая прошедшую стычку. Шли и покуривали. У меня были папиросы. Потихоньку от родителей я стал курить с мальчишками. Деньги мне выдавались на завтрак, а тратились они на папиросы. У моссельпромщицы покупались хорошие папиросы — десяток «Герцеговины Флор». Название одно чего стоило. Портфель мой никогда не проверялся, и папиросы лежали в нем.

Прихожу домой. Мама открывает дверь:

— Где ты это так?

Сразу соображаю, что, наверное, у меня синяк и бодро отвечаю:

— Скользко на улице. Вот и упал.

— Да у тебя и под правым глазом, и выше него.

— Ледышка тонкая лежала, одним ребром она ударила выше глаза, другим ниже.

— Посмотрись в зеркало.

Подошел я к зеркалу и понял, что вратить больше нельзя. Не синяки, а глубокие разрезы были выше и ниже правого глаза. Противник мой оказался нечестным, в руке у него была «закладка» — острые железяки, с помощью которой он меня и разукрасил.

— Прости меня, мама. Я хотел тебя обмануть, чтобы ты не сердилась. Это я подрался.

— Да у тебя и губа разбита. Подойди. Покажи. Да от тебя табаком пахнет. Ты что же, куришь?

Пришлось и в этом сознаться, что иногда и немного.

На следующий день мой «противник» нахально утверждал, что это не он нанес мне разрезы, а кто-то другой, уже после стычки. Я был возмущен, но связываться с ним еще раз побоялся, так как мальчишка был «зацепский», а они славились тем, что умели и сами драться, и постоять друг за друга.

Курить я скоро бросил. Меня напугал врач. Не помню, по какому поводу я был у него, но хорошо помню наш разговор:

— Вы курите?

— Немного.

— Не советую, у вас легкие слабые. Будете курить, будет у вас туберкулез, иначе говоря чахотка. А там дело ваше. Я предупредил.

После этого разговора всякая охота курить у меня пропала.

Примерно одна треть класса у нас состояла в пионерской организации. Большинство ребят не были

пионерами. Я был в этом большинстве не потому, что меня удерживали принципиальные соображения или родители не разрешали. Нет, не поэтому. А просто так сложилось. Никто не предлагал, никто ничего не рассказывал о пионерах. А тут голуби, уроки немецкого языка. Не до них, не до пионеров.

Но я твердо знал, что «бойскаутов» надо бить. Одно время была такая организация в Москве. Члены ее ходили в форме, в специальных шляпа (панамах) и с черными галстуками. К нам в дом приходил один «бойскаут» в гости к своим родственникам. И каждый раз мы поджидали его возвращения обратно, чтобы «наподдатть».

Вообще мы, мальчишки, недоброжелательно относились к «буржуям». Это понятие было у нас весьма гуманное. В «буржуи» мы могли зачислить и людей, отличавшихся от других по своей одежде. Так, в категорию «буржуев» у нас попала семья Приклонских.

В доме, где располагался детдом, третий этаж был занят жильцами. У них был отдельный вход. Среди жильцов этого этажа была семья Приклонских — мать, сын, его жена и их ребенок.

Моя мама с особым уважением относилась к матери Приклонского.

— У нее была частная гимназия. Гимназия Приклонской на Малой Ордынке, — говорила мама.

Кстати, в годы советской власти в здании этой гимназии была школа-семилетка, которую окончила моя будущая жена.

Внешне старушка-Приклонская мало чем отличалась от остальных жильцов дома и поэтому не привлекала к себе нашего мальчишеского внимания. Но вот сын ее обращал на себя внимание, особенно в летнее время, когда он в хорошо выглаженном костюме с галстуком появлялся во дворе в инженерной фуражке и рядом с ним шла такая же нарядная молодая жена.

Я думаю, что больше всего из-за инженерной фуражки, которая уж очень лихо и нарядно сидела на голове Приклонского, наша компания отнесла его к «буржуям». Все это были, конечно, ребячий выдумки. Виктора Александровича Приклонского со временем я хорошо узнал. Это был крупный ученый, работавший в области инженерной геологии.

В.А. Приклонский заведовал кафедрой инженерной геологии в Московском геологоразведочном институте (МГРИ), а затем был директором Лаборатории гидрогеологических проблем им. Ф.П. Саваренского АН СССР. Он был избран членом-корреспондентом АН СССР. Виктор Александрович был мильнейший человек, и ничего «буржуйского» на самом деле в нем не было. Детская фантазия иногда может незаслуженно вознести человека, а иногда так же незаслужено опорочить.

Я никогда не задумывался: есть Бог или нет. В таком возрасте над такими вопросами, наверное, никто не думает. В церковь мы ходили главным образом в последнюю неделю Великого поста и на Пасху. Это было интересно. В Страстной четверг была длинная служба, после которой существовал обычай донести зажженную свечку домой. Я старался ускользнуть от своих родителей и присоединяться к знакомым ребятам, которые задували свечки у верующих, идущих из церкви домой. Игра эта была опасная. Верующие были в ряде случаев весьма серьезные, и если бы мы попали им в руки, так бы отдубасили, что сразу отбили бы охоту к подобным шуткам.

В пятницу был крестный ход вокруг церкви и святали куличи и пасхи. Тоже было интересно. Но самое интересное — это, конечно, ночь с субботы на воскресенье. Заутреня. Торжественная церковная служба. Целый день ничего есть не дают, а после заутрени все разговляются. Придешь домой — на столе закуска, кулич, пасха, крашеные яйца. Ешь, сколько хочешь. А на следующий день, первый день Пасхи, идешь поздравлять то к одной бабушке, то к другой, то к теткам, и везде пасхи, куличи. У каждой хозяйки свой рецепт, но везде вкусно.

Все это было интересно, торжественно, вкусно. Механически говорилось: «Христос воскрес», «Воистину воскрес». Но глубоко над этими словами я никогда не задумывался. Так было до 1928 года.

В 1928 году, когда я был в шестом классе, шли мы с Володей Пеутиным по Октябрьской площади и вдруг он говорит:

— А ты знаешь, я решил, что Бога нет.

Я даже не стал спрашивать, почему он так решил, и, чтобы не отставать от своего друга, тут же отозвался:

— Правильно, конечно нет.

Сказал, а самому страшно стало. А вдруг Бог есть и он за эти слова накажет?

Решили оба, что мы проведем соответствующую антирелигиозную кампанию дома.

Не знаю, как она проходила у Володи, а у меня она проходила так. Войдя в нашу комнату, я застал там маму, папу и няню. И без всякой дипломатии объявил:

— Мы сегодня с Володей решили, что Бога нет, и поэтому в церковь я больше не пойду и пасху с куличами есть не буду.

Каждый прореагировал на это по-своему. Няня захала, запричитала:

— Что ты, что ты, опомнись, что говоришь? Бог накажет.

Мать ничего не сказала, только посмотрела на меня, как мне показалось, укоризненно. А отец отнесся к этому более спокойно, чем я ожидал:

— Ты еще мал об этом рассуждать. Вырастешь, тогда и будешь поступать, как тебе совесть подскажет.

— Ничего не мал. Мне уже 14 лет, — возразил я. На этом пока и закончился наш разговор.

Приближалась Пасха. Я заявил еще раз, что в церковь не пойду, поститься не буду, пасху и кулич есть тоже не буду. Надо мной родственники смеялись, ребята во дворе обозвали дураком («Чего же пасху-то да куличи не есть? В бога можно не верить, а пасху и куличи есть»). Но я был тверд в своем решении. Так было несколько лет, а потом я тоже решил, что в бога можно не верить, а куличи и пасху есть можно — они вкусные.

Кажется, в том же 1928 году были объявлены выборы в Советы. Право голоса имели трудящиеся. Все

нетрудовые элементы лишились права участия в выборах. Появились новое слово и новая категория людей — «лишенцы».

Лишенцы не только лишились права голоса на выборах — это бы еще полбеды. Они в административном порядке высыпались из Москвы за 100 км без права въезда в Москву. Это была уже большая беда. К лишенцам относились не только какие-нибудь крупные бывшие буржуи или нэпманы. Это была довольно широкая категория лиц, куда зачислялись и домовладельцы, и лица, занимавшиеся торговлей, независимо от ее размера.

К нам в школу пришел представитель Замоскворецкого райсовета, который находился тогда в том же здании, что и сейчас, на Большой Полянке. И по какому-то, наверное, известному только ему принципу (я думаю, уж не по росту ли, потому что вопросов он нам никаких не задавал) отобрал десять человек ребят для проведения кампании с лишенцами. Среди них оказался и я.

Списки лишенцев были разосланы по домкам. Лишенцы были поставлены в известность, что в определенный срок они могут обжаловать это решение. Естественно, что многие бросились в райсоветы. Вот для помощи в их приеме и решили на несколько дней взять на работу в райсовет школьников.

Не помню, что делали другие ребята, а меня посадили на прием заявлений. В большой пустой комнате стоял письменный столик, за которым восседал я, а перед ним — два стула для посетителей.

Обязанности у меня были несложные. Надо было принять заявление, поставить на нем номер, а затем записать за этим номером в книгу учета фамилию, имя, отчество гражданина, подавшего заявление. Если посетитель выражал свое возмущение, недовольство или хотел что-то более подробно объяснить, мне надо было сказать: «Пройдите, пожалуйста, в комнату такую-то, к товарищу такому-то, там вы сможете все рассказать». Вот говорить или не говорить, это решать должен был я сам. Я и решал как мог.

Среди посетителей оказался глава большой семьи Тарасовых, живших в одноэтажном маленьком домике на Малой Полянке — доме 7, о котором я уже упоминал. Его лишили права голоса за то, что этот домик раньше принадлежал ему. Около домика росла чудесная сирень, которая тщательно оберегалась от нас, мальчишек, и поэтому мы считали его «жадюгой». Но в этом случае ему я сам подсказал, куда надо обратиться.

Самое интересное, что ко мне с заявлением пришла моя собственная бабушка, бабушка Леля.

— Женя, кому тут надо заявление подавать, чтобы прав не лишали?

— Мне, бабушка.

Бабушка удивленно посмотрела на меня, спорить не стала и отдала свое заявление. Но потом дома говорила:

— До чего же мы дожили, мальчишки нами управляют.

Произошло следующее. Когда был объявлен НЭП и тысячи дельцов бросились открывать частные предприятия, магазины, мастерские и другие организации, бабушка тоже решила попытать счастья и

в компании с одним из своих родственников решила открыть лавочку по розничной продаже муки. Мука должна была закупаться по более дешевым ценам в «хлебных» губерниях, привозиться в Москву, развозиться по пакетам от фунта и больше и продаваться по более дорогой цене. Вся семья протестовала против этой затеи. Но бабушка и слышать ничего не хотела. «Мука всем нужна, — рассуждала она, — а за труды нам полагается. Жизнь сейчас трудная. Что вы там все получаете? Пустяки. Надо подкормить семью».

Из этой затеи ничего не вышло. На деле оказалось все значительно сложнее, чем па словах. Предприятие «Бабушка и Ко» просуществовало меньше месяца и лопнуло. Все облегченно вздохнули. Но оно было зарегистрировано на имя бабушки. И, естественно, она попала в список лишенцев.

Ее заявление последствий не имело. Надо было выезжать из Москвы. Бабушке подыскали комнату в г. Воскресенске (за 100 км) и перевезли ее туда. К этому времени дедушка Коля уже умер (1927 г.). Еще раньше, в 1925 г., умер дедушка Епифан.

Все дети бабушки начали хлопотать о возвращении ее в Москву. В своих заявлениях они указывали, что лавочка эта существовала меньше месяца, существовала более юридически, чем фактически, что при этом не было наемного труда, что все они (дети) работают с первых дней у советской власти, служили в рядах Красной Армии, что бабушка уже в преклонном возрасте и т.п. Это помогло, и через несколько месяцев бабушку привезли обратно в Москву.

Многому хорошему я обязан семье Пеутиных. С Володей мы подружились. Несколько лет мы ходили в гости друг к другу каждое воскресенье. Одно воскресенье — он у меня в гостях, другое — я у него. У меня мы больше играли. Играли в солдатики, в пинг-понг. У него тоже играли, но в более серьезные игры, вместе со взрослыми. Например, в китайскую игру ма-джонг. Но главное занятие — это были книги.

Отец Володи, Иван Васильевич Пеутин, был уроженец Палеха. «Мы владимирские богомазы», — шутил он.

Никаких учебных заведений Иван Васильевич не оканчивал. Был он самоучкой. Страшно любил книги. Приходил с работы, брался за книгу. В воскресенье, если дома, опять с книгой. Любовь к книге он привил не только Володе, но и мне. Из своей библиотеки, а она у него была хорошая, давал он мне домой то, что может увлечь 10–12-летнего мальчика: «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», Фенимор Купер и др. От этих книг я перешел к Гоголю, Чехову, Толстому. Но впечатление от героев Александра Дюма не исчезало. Мы воображали себя Д'Артаньяном и Атосом, согласны были взять на себя роль Арамиса, но никто не хотел быть Портосом.

Кажется, в 1925 году мне пришлось пережить приключение, напоминавшее похождения любимых героев.

После майских праздников прихожу я из школы домой, звоню четыре раза (у нас в квартире жило пять семей, и каждая семья имела свое количество звонков), дверь тут же распахивается и... на меня на-

правлен наган. И голос мамы: «Это мой сын, мой сын!». Все произошло так быстро, что я даже испугаться не успел. Оказалось, что в нашей квартире — засада уголовного розыска.

В комнате, расположенной рядом с входной дверью, жили муж и жена; кажется, по фамилии Воронковы, где-то служили, тихие, скромные, ничем не примечательные. Бывали у них гости, но редко. Все было в рамках приличия. И вот оказалось, что Воронковы вступили в банду. Точнее, муж, но жена знала об этом. Оказалось, что и план ограбления банка разрабатывался у них в комнате при последнем посещении гостей.

Решено было провести ограбление отделения госбанка, находившегося в районе московской бойни. К нему подъехала автомашина. В банк вошли несколько человек и, угрожая оружием, заставили работников банка и посетителей лечь на пол. Лег и вахтер, стоявший у двери, лег так, что под ним оказалась кнопка сигнализации, проведенной в ближайшее отделение милиции.

Там по тревоге направили к банку наряд конной милиции. Между тем бандиты, ничего не подозревая, забрали все деньги из кассы. Их оказалось не так много — 20 тыс. рублей. Перед майскими праздниками все организации выдали зарплату, а после майских поступлений денег в банк еще не было.

Забрав деньги, бандиты выбежали из банка с криком «Банк горит!» и бросились к машине. Навстречу им скакал наряд милиции, пришлось разворачивать машину в противоположную сторону. Время было потеряно. Милиционеры стали настигать грабителей. Они открыли огонь. Впереди ехал ломовой извозчик. Поняв, в чем дело, он развернул свой полок поперек улицы. Машина ударила в него. Перевернула полок, но дальше ехать не могла. Завязалась перестрелка. В этой перестрелке было убито семь человек — милиционер, проходившая по улице женщина, мальчишка-газетчик и четверо бандитов. Воронков сам застрелился. Главарь их был взят живым.

Во время перестрелки шофер захватил чемоданчик с деньгами и скрылся. Его и разыскивали. У гвардии банды узнали адреса ее членов и везде устроили засады. Вот такая засада и находилась в нашей квартире.

Засада оказалась очень эффективной, но только не в отношении разыскиваемого бандита (он не появлялся), а в отношении всех, кто приходил к нам в квартиру. Всех впускали и никого не выпускали.

Когда я вернулся из школы, у нас в квартире уже находились: молочница, старьевщик-татарин, две подружки нашей соседки, которые зашли к ней в гости после работы. Но самое интересное началось вечером.

Как я уже писал, мамины родственники жили в этом же доме на втором этаже. Тетя Шура зашла прощаться маму. Пришла и осталась. Ее муж, Иван Петрович Тутунов ждал, ждал ее и потом рассердился:

— Да что она, в самом деле, Вовку надо спать укладывать. Пойду за ней.

Пришел к нам и тоже остался.

Другие мамины родственники, которые жили в той же квартире (тетя Зина и дядя Петя Корнеевы), решили:

— У Сергеевых что-то интересное случилось. Тутуновы пошли и пропали. Пойдем, узнаем.

Долго ли подняться на два этажа. Поднялись, позвонили и тоже оказались в «мышеловке». Тетя Зина пробовала протестовать:

— У меня дочка совсем маленькая. Отпустите меня.

— Понимаем. Но не имеем права.

Потом решили, надо привести к нам ребят. Спустились домой тетя Зина, вместе с ней один из сотрудников УГРО и забрали Володю и Таню. Тете Зине было сказано, чтобы она ни с кем не разговаривала, ни на какие вопросы не отвечала.

Бабушка спрашивает:

— Зачем ребят к Сергеевым берешь?

А она:

— Так надо.

— Что значит «так надо»? Это что за товарищ?

Тетя Зина молчит.

Все понял мамин брат, дядя Коля. Говорит бабушке:

— Мама, ну что они, не понимают, что делают? Раз хотят, чтобы ребята у Сергеевых ночевали, пусть ночуют.

А когда ушла тетя Зина с ребятами и вместе со своим провожатым, дядя Коля первый догадался:

— Мама, ни в коем случае к Сергеевым не ходи. У них в квартире засада.

В нашей 25-метровой комнате оказалось 10 человек. Но это восприняли как забавное приключение. Хотя и проскальзывали нотки тревоги — а вдруг начнется перестрелка, ведь дверь комнаты находилась как раз напротив входной двери квартиры.

Утром возникла новая проблема — не было столько запасов продуктов, чтобы прокормить всех собравшихся. Одна из наших соседок в сопровождении сотрудника уголовного розыска с большой корзиной отправилась за хлебом, молоком и другими продуктами по магазинам. Естественно, ее стали спрашивать встречные жильцы дома:

— Что это у вас за массовые закупки?

А что она могла ответить? Только одно:

— Так надо.

То ли по этому поводу, то ли бабушка кому-то по секрету сказала, но по дому поползли слухи, что в нашей квартире засада.

Сижу я на подоконнике открытого окна, ребята со двора кричат:

— Выходи гулять!

— Не могу, у меня нога болит.

— Знаем, какая нога. Вас никого не выпускают, засаду УГРО у вас устроило.

Два с лишним дня мы были в «мышеловке». Потом сотрудники уголовного розыска ушли, оставив на всякий случай свой телефон. Дали нам понять, что бандита еще не поймали, но поймают непременно.

Так я и рос, учился в школе, учился и у жизни. У последней научился, пожалуй, не меньше, чем в школе.

Каждый год я с нетерпением ждал летних каникул. Каждое лето оставляло своеобразные, яркие впечатления. ♦